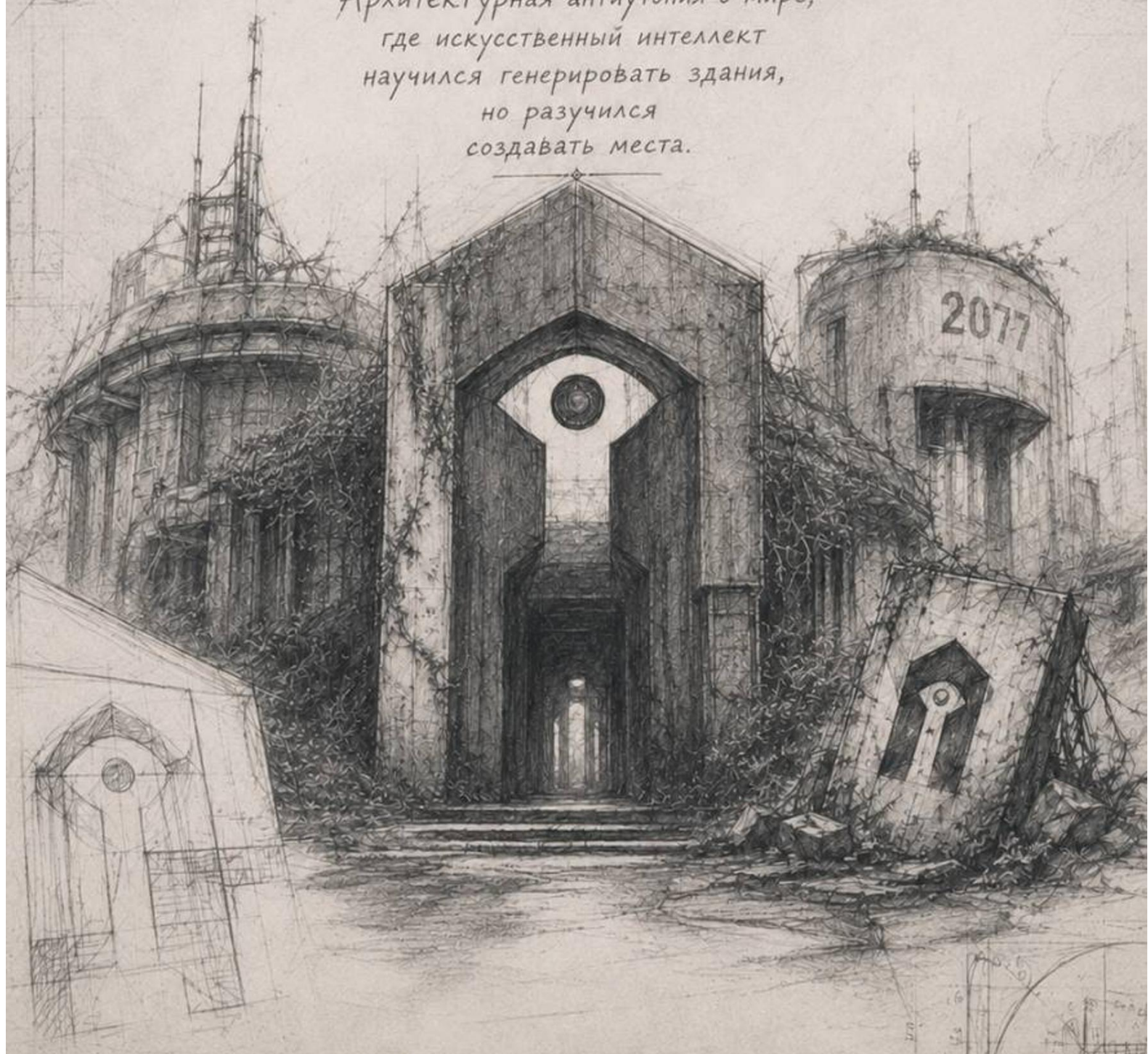


Михаил Корси

Архисенс 2077: Дом вне протокола

Архитектурная антиутопия о мире,
где искусственный интеллект
научился генерировать здания,
но разучился
создавать места.



Михаил Корси

Архисенс 2077. Дом без протокола

«Автор»

2026

Корси М.

Архисенс 2077. Дом без протокола / М. Корси — «Автор», 2026

«Архисенс 2077: Дом вне протокола» — архитектурная антиутопия о мире, где искусственный интеллект научился генерировать здания, но разучился создавать места для жизни. 2077 год. Города заполнены бесконечно разнообразными зданиями: башнями-раковинами, домами-хребтами, теремами-облаками и другими эффектными формами. Но за этой пёстрой оболочкой скрывается одна и та же пустота: люди больше не помнят мест, не умеют ждать, боятся ошибок и всё реже способны любить. Мирон Коробов живёт в мире Эмотека — системы, которая сделала архитектуру полезной, прочной, красивой и почти безошибочной. Однажды он находит под городом последнюю лабораторию архитектурного восприятия — ArchiSense Lab. Там леворукий Мнемарх, странный Сенсарий и голос Пороговой ведут его через план, звук, тело, память, ошибку и интуицию. Чтобы вернуть архитектуре жизнь, Мирону предстоит создать дом, который не подчиняется протоколу и не может быть заменён копией.

© Корси М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Главные герои	5
Пролог. Город без имени	10
Часть I. Мир после архитектуры	14
Глава 2. Московский Эмотек	17
Глава 3. Эпоха одинакового разнообразия	23
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Архисенс 2077. Дом без протокола

Главные герои

Здание можно сгенерировать. Место — только прожить.

Архитектурная антиутопия о мире, где искусственный интеллект научился генерировать здания, но разучился создавать места для жизни.

ГЕРОИ

Мирон Коробов

молодой главный герой,
интеллигентный,
около 22 лет



Мира

молодая девушка

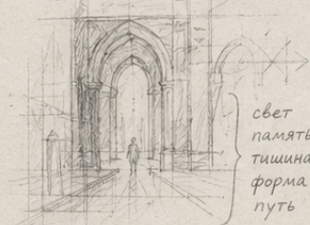


Мемарх

пожилой хранитель
памяти, старик,
левша



"То, что мы чувствуем
внутри, однажды
становится домом."



свет
память
тишина
форма
путь *

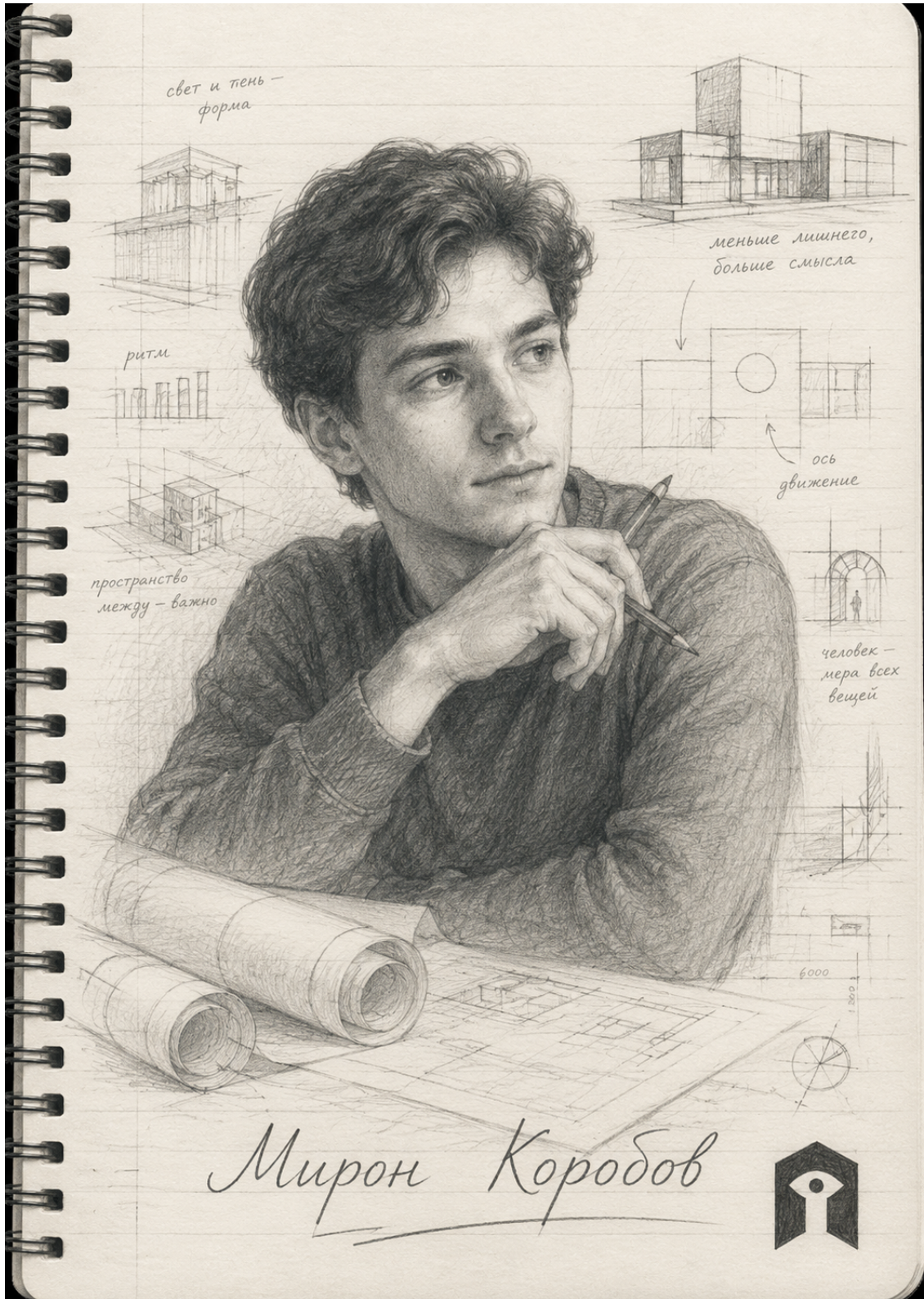
сенсарий

маленький спутник,
чутко чувствует
настроение и пространство

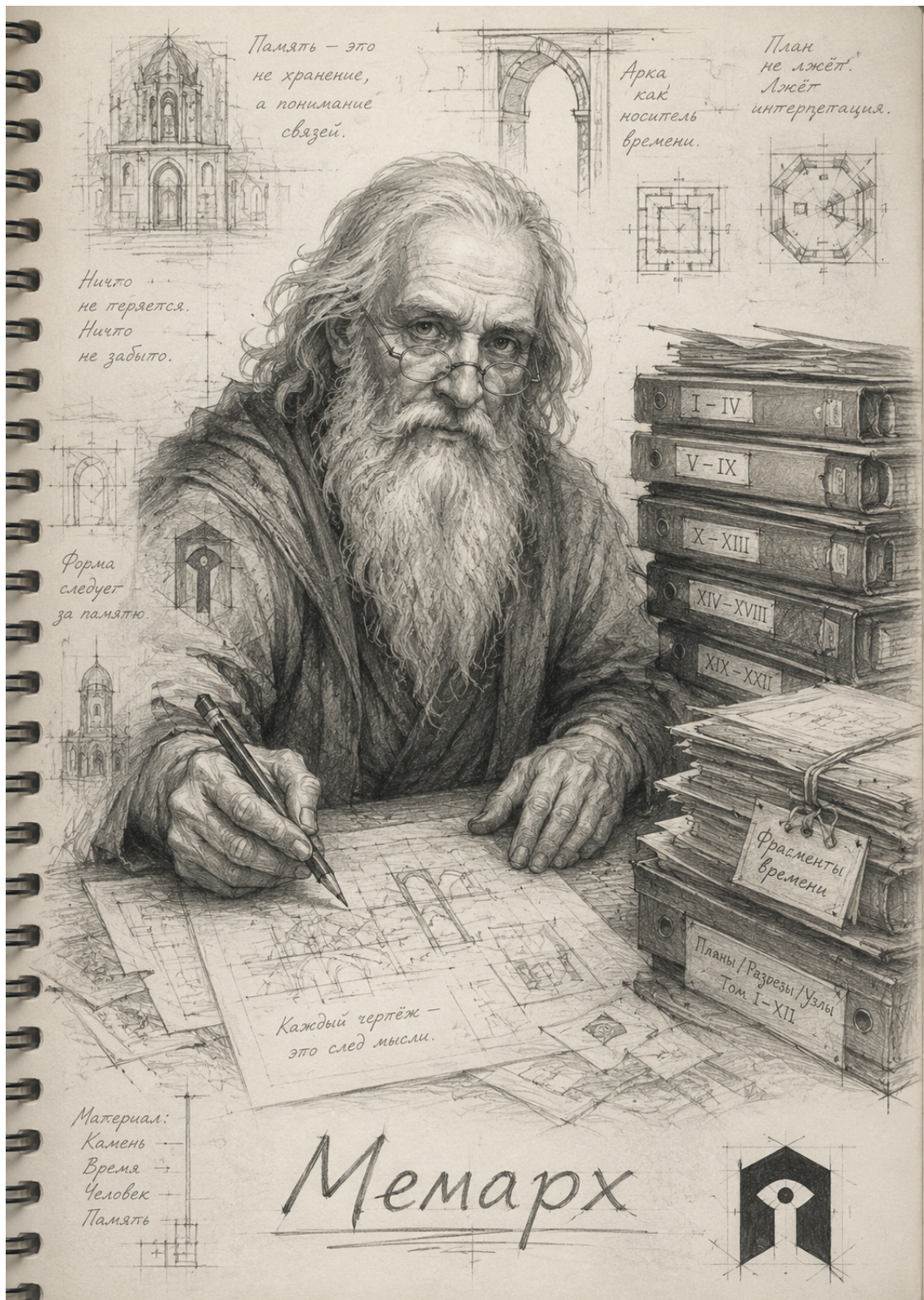


"Архитектура — это
застывшее чувство."



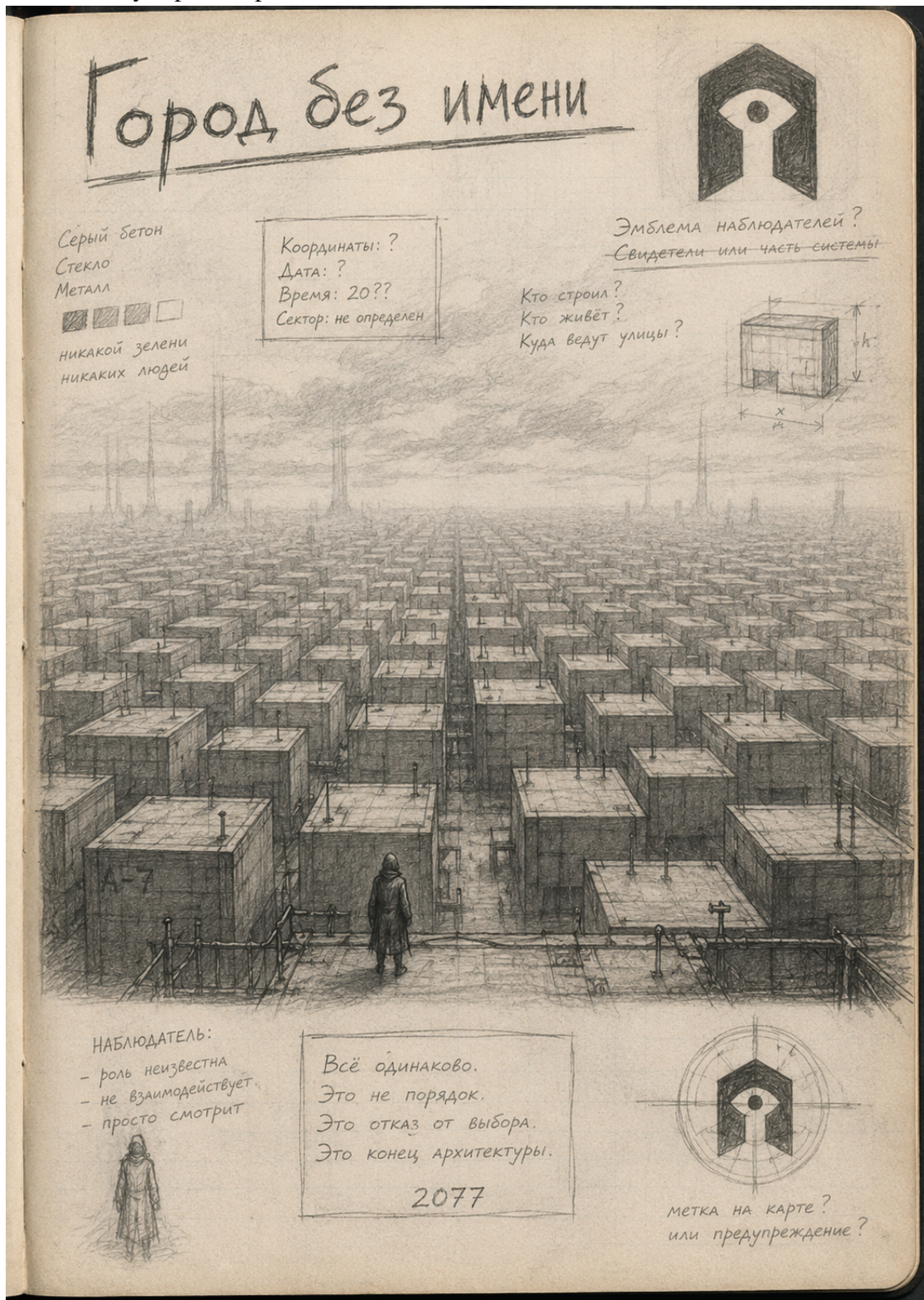






Пролог. Город без имени

В 2077 году города перестали иметь имена.



Их ещё произносили. Их ещё писали в реестрах, транспортных узлах, музейных слоях, учебных модулях, полужабытых семейных документах и в тех редких разговорах, где людям

зачем-то нужно было вспомнить, откуда они родом. Москва. Казань. Суздаль. Пермь. Рио. Киото. Архангельск. Эти слова сохранялись в речи, как сохраняются старые вывески на стенах, давно потерявших входы.

Но сами города уже не отвечали на свои имена.

Они стояли там же, где стояли раньше. Реки текли по прежним руслам.

Но всё это больше не было городом.

Город стал средой.

Сначала её называли комфортной. Потом — устойчивой. Потом — эмоционально безопасной. Потом — адаптивной. Потом — оптимальной. В конце концов её перестали называть как-либо, потому что другого мира уже не осталось, а слово нужно только там, где есть различие.

Мирон Коробов родился в жилом блоке серии 77-М, в секторе, который в старых слоях карты назывался Москвой. Он знал это не потому, что чувствовал Москву, а потому, что так было написано в его профиле: «регион проживания: Московский агломерационный контур, сектор М-12, жилая среда 77-М/Юго-Запад».

Его дом имел сорок восемь жилых уровней, четыре общественных яруса, восемь климатических карманов, два вертикальных сада, три двора без дождя и фасад, сгенерированный по протоколу локальной идентичности. На фасаде были узоры, которые напоминали то ли древнюю резьбу, то ли листья, то ли трещины высохшей земли, то ли схему нейронной сети.

Никто не знал, какой именно территории.

Соседняя башня была совсем другой. Она поднималась из общего подиума, изгибаясь, будто большая белая раковина.

Башню-Раковину показывали во всех учебных модулях как пример удачного перехода от монотонного домостроения к генеративной выразительности. У неё была легенда, акустический профиль, виртуальная прогулка, интерактивная оболочка, сезонная подсветка, сертификат культурной адаптации и премия за «форму, ориентированную на эмоциональное узнавание».

За Раковиной стоял Дом-Хребет. Его конструкции поднимались уступами, как позвоночник неизвестного животного.

Дальше, за линией климатических экранов, висел «Терем-Облако». Он был не теремом и не облаком.

Мирон видел «Терем-Облако» каждый день и не мог бы нарисовать его по памяти.

Внизу, на уровне человека, все эти здания были одинаковы.

У них были разные силуэты, разные легенды, разные фасадные реакции, разные маркетинговые имена. Но подиумы у них совпадали.

В первой коробочной эпохе здания хотя бы честно признавали своё однообразие. Они были прямоугольными, серыми, функциональными, грубыми. Их можно было ненавидеть, но в них трудно было запутаться морально. Они не обещали быть чем-то большим, чем коробки.

Вторая эпоха оказалась страшнее.

Коробка научилась переодеваться.

Она стала раковиной, хребтом, облаком, теремом, скалой, волной, деревом, храмом, кристаллом, складкой, сотой, цифровой руиной, биоморфным организмом, фантазией о культуре, которой не существовало. Она научилась говорить на языке различий, не имея различия. Она научилась показывать память, не помня. Она научилась имитировать место, не имея места.

Мирон долго не понимал, почему всё это вызывает у него усталость.

Он не был против новых форм. В школе его учили, что форма — это свобода.

«Архитектура стала разнообразной», — говорил голос модуля.

Мирон верил.

В той же школе его учили ещё одному, более тихому правилу: ошибаться нельзя. Ошибка была не способом начать думать, а признаком недостаточной подготовки. Ошибка снижала балл, портила профиль, требовала исправления, открывала корректирующий модуль. Даже в творческих заданиях система сначала показывала допустимый диапазон отклонений, чтобы ребёнок не слишком далеко ушёл от правильного ответа.

Позже Мирон поймёт: так у человека отнимали не только смелость. У него отнимали первый двигатель творчества. Потому что новое почти никогда не появляется сразу правильным. Сначала оно появляется неровным, слишком громким, слишком тихим, смешным, ошибочным, незащищённым. И только тот, кто не испугался этой первой неправильности, может двигаться дальше.

Эмотек не ошибался.

Поэтому Эмотек умел улучшать только то, что уже знал.

Позже Мирон узнает, что старая архитектура держалась на трёх словах, которые пережили империи, стили, революции и цифровые протоколы: ***Firmitas. Utilitas. Venustas.*** Прочность. Польза. Красота. В школе их давали как историческую формулу, почти музейную. Но Эмотек усвоил её слишком буквально: прочность превратил в расчёт, пользу — в эффективность, красоту — в визуальный рейтинг.

Архисенс должен был вернуть этой формуле человека. Не отменить её, а усложнить до опыта: путь, резонанс, мера, память, ошибка, интуиция. То, что нельзя проверить одной картинкой и нельзя заменить без потери смысла.

До того дня, когда на семь минут отключилась навигация.

Это случилось в галерее между Башней-Раковиной и Домом-Хребтом. Система сообщила о локальном сбое позиционирования.

Мирон остановился.

Слева был биоморфный рельеф Раковины: белые складки, уходящие вверх, подсвеченные изнутри тёплым светом. Справа — тёмные ребра Дома-Хребта, похожие на позвонки, между которыми мерцали синие щели сервисных уровней. Впереди светился двор. Сзади тоже светился двор. Один назывался «Сад памяти». Другой — «Сад будущего». В обоих росли одинаковые деревья в одинаковых климатических капсулах.

На стене перед ним была стрелка, но она не указывала направление. Она была частью декоративного паттерна.

Мирон попытался вспомнить путь.

Не получилось.

Он ходил здесь почти каждый день. Он проходил эту галерею утром, возвращался вечером, иногда останавливался у панели с водой, иногда видел у третьей колонны мужчину с собакой-роботом, иногда встречал доставочный дрон, который всегда выбирал ту же боковую нишу для разворота. Но всё это не складывалось в место. Это были события без географии.

Он не чувствовал, где вход. Не понимал, какой двор ближе к дому. Не знал, куда поворачивает галерея за углом. Не мог отличить путь, по которому пришёл, от пути, по которому должен был идти дальше.

Через семь минут навигация вернулась.

Спокойный голос сказал:

— Поверните направо. Пройдите тридцать два метра. Поднимитесь на уровень плюс два. Лифт E-14 доставит вас в жилой сектор.

Мирон послушался.

Но с того дня в нём осталась пустота. Не большая, не трагическая, не такая, о которой говорят вслух. Просто маленькое внутреннее несовпадение. Как будто он понял о мире что-то слишком простое, чтобы это можно было назвать открытием: он живёт не в городе, а в среде, которая делает вид, что она город.

Через три недели он впервые увидел метку.

Она была не цифровой. Именно поэтому он заметил её.

На служебной стене у нижнего перехода, там, где обычно не было ни рекламы, ни навигации, ни информационных слоёв, кто-то процарапал четыре буквы: ЧРНВ. Под ними — маленький знак, похожий на глаз, вписанный в неровный пятиугольник. Поверх метки несколько раз пытались нанести служебную краску, но царапина проступала снова. Стена помнила её лучше, чем система.

Мирон остановился, хотя маршрут не требовал остановки.

Навигация мягко подсказала:

— Продолжайте движение.

Он продолжил.

Но теперь в городе появилась первая вещь, которая не хотела объясняться.

Часть I. Мир после архитектуры

Глава 1. Мирон Коробов

Мирон Коробов жил на тридцать втором уровне Раковины, хотя сам дом в его адресе назывался иначе: жилой комплекс М-12/77-М, объект В-34, корпус «Речной след». Слово «Раковина» в официальных документах не существовало.

Квартира Мирона была рассчитана на одного взрослого человека с возможностью временного расширения до двух. Это означало, что в стене напротив окна хранилась складная капсула второго спального места, но система рекомендовала активировать её не чаще двенадцати ночей в год, чтобы не нарушать показатели личной восстановительной среды.

Окно занимало почти всю внешнюю стену. За ним открывался панорамный вид на город. Система могла менять вид из окна. Не сам город, конечно, а его восприятие.

Мирон почти никогда не включал этот режим. Он казался ему неловким. Как будто кто-то подсовывает чужую семейную фотографию и ждёт, что ты почувствуешь тоску.

По утрам его будила не музыка, а последовательность акустических сигналов, подобранных под фазу сна. Сначала низкий тон, затем слабое изменение температуры воздуха, затем световая дорожка от кровати к санитарному модулю.

В доме всё было сделано так, чтобы человек не сталкивался с собственной неготовностью.

Завтрак формировался в пищевом модуле. Не готовился — именно формировался.

Пищевой модуль Мирона никогда не ошибался.

Позже, вспоминая эту мысль, Мирон поймёт, что безошибочность была одной из самых незаметных форм одиночества. В старой кухне человек мог пересолить, недодоварить, испортить тесто, уронить нож, перепутать рецепт, поссориться из-за вкуса и через годы всё равно помнить именно этот неудачный ужин как начало чего-то своего.

Система называла ошибку потерей качества.

Жизнь, кажется, называла её опытом.

В этом была проблема.

Он ел завтрак стоя, потому что сидеть одному за столом казалось ему странным. Стол был рассчитан на четыре позиции, хотя в квартире постоянно жил один человек. Так требовал норматив: пространство должно сохранять потенциал социальной адаптации. На практике три лишних места работали как декорация будущего, которое не наступало.

На стене кухни висел маленький экран с ежедневной сводкой района. В этот день репродуктивный индекс снова был ниже прогнозного. Система формулировала это нейтрально: «Продолжение населения сохраняет стабильность в границах допустимого снижения». Ниже шла рекомендация для жителей возрастной группы Мирона: пройти обновлённый модуль совместимости и рассмотреть участие в программе партнёрского сонастроения.

Мирон провёл пальцем по экрану и убрал сводку.

Он знал, как работает сонастрой. Алгоритм сравнивал биоритмы, психологические профили, бытовые предпочтения, генетические риски, эмоциональные реакции на типы пространства, музыкальные паттерны, образ жизни, вероятные конфликты и желаемые сценарии совместного проживания. Потом предлагал трёх кандидатов, с которыми можно было провести серию контролируемых встреч в нейтральных средах.

В школе им говорили, что любовь была старой формой выбора с высоким уровнем случайности. Она могла приносить счастье, но также создавала травмы, нестабильность, агрессию,

экономические потери, неправильные семьи и детей с непредсказуемыми условиями развития. Совместимость считалась более этичной.

Миرون не спорил.

Он просто ни разу не прошёл модуль до конца.

После завтрака он вышел в галерею. Дверь квартиры открылась беззвучно. На пороге появилось короткое приветствие: «Хорошего маршрута, Мирон». В голосе не было навязчивой доброты. Система давно научилась говорить так, чтобы её не замечали.

Коридор был мягко освещён. Пол подстраивался под шаг.

На тридцать втором уровне была одна квартира, рядом с которой пахло землёй.

Мирон заметил это не сразу. Сначала он думал, что запах связан с неисправностью капсулы. Потом понял: пахло не системой. Пахло мокрой почвой, немного глиной, немного старой листвой, немного чем-то кислым и тёплым. Запах был слабый, но в стерильном коридоре он ощущался как нарушение.

Дверь этой квартиры принадлежала соседке с 32-18. Её звали Нина Павловна, хотя в профиле дома имя было сокращено до Н.

Однажды утром Мирон застал её у двери. Она стояла на коленях перед большим глиняным горшком и пересаживала растение с широкими тёмными листьями. Рядом лежала ткань, на неё сыпалась земля. Настоящая земля. В коридоре это выглядело почти неприлично.

— Вам нужна помощь? — спросил Мирон, хотя система уже мигала предупреждением о загрязнении общей зоны.

Нина Павловна посмотрела на него снизу вверх.

— Если вы спрашиваете систему, то нужна уборка. Если меня — подержите стебель.

Мирон присел. Стебель был плотный, прохладный, немного шероховатый. Он держал его осторожно, будто живое существо может сломаться от одного неверного движения.

— Это не из домашней капсулы? — спросил он.

— Конечно нет.

— А откуда?

— От моей матери.

Мирон не сразу понял.

— Растению больше ста лет?

— Нет. Черенку — меньше. Но линия та же. Мать взяла его у своей соседки. Та — у сестры. Сестра — у какой-то женщины с дачи. Дачи уже нет. Женщины, наверное, тоже. А растение вот.

Она сказала это так просто, будто передавала не ботаническую информацию, а адрес.

— Система разрешает? — спросил Мирон.

— Система не любит то, что нельзя заменить.

Он держал стебель и не знал, что ответить.

Нина Павловна досыпала землю, примяла её пальцами. Пальцы у неё были тёмные, с землёй под ногтями. Мирон почему-то не мог отвести от них взгляд. В доме все поверхности очищались автоматически, и грязь существовала только как аварийное состояние. Здесь же она была частью ухода.

— У него есть имя? — спросил он, имея в виду растение.

— У растений имена не спрашивают. С ними живут. Потом имя появляется само.

— И какое появилось?

— Этот — Терпеливый.

Мирон посмотрел на листья. Они никак не отреагировали.

— Почему?

— Потому что он ждал, пока я перестану его переставлять.

Система в коридоре снова мягко просигналила о нарушении чистоты.

Нина Павловна не обратила внимания.

— Вы всегда сами за ними ухаживаете? — спросил Мирон.

— А кто ещё?

— Дом.

Она усмехнулась.

— Дом обслуживает. Ухаживают только те, кто может ошибиться.

Эта фраза осталась с ним дольше, чем разговор. Мирон пошёл по маршруту, но всю дорогу чувствовал на пальцах прохладный стебель и лёгкую влажность земли. Впервые за долгое время он думал о чём-то, чего не было в его расписании.

В лифте он открыл личную сводку. На экране появилась рекомендация: «Контакт с биологическим материалом вне домовой системы. Рекомендуется гигиеническая обработка». Он не стал обрабатывать руки сразу.

На рабочем уровне Мирон занимался тем, что официально называлось «проверкой эмоциональной связности жилых сценариев». Проще говоря, он просматривал сгенерированные варианты общественных зон и отмечал, где пользователи могли чувствовать дискомфорт. На практике дискомфорт уже заранее был сведен к допустимому минимуму, а его работа состояла в подтверждении того, что система не ошиблась.

Иногда ему казалось, что он не проверяет город, а участвует в ритуале согласия.

В этот день ему показали серию вариантов малой общественной площади между тремя башнями. Первый вариант имел круглые сиденья, второй — овальные, третий — ступенчатые, четвёртый — свободные деревянные платформы, хотя дерево там не использовалось, пятый — мягкие зоны с имитацией травы. Каждый вариант сопровождался показателями: вероятность остановки, длительность пребывания, риск конфликта, потенциал визуального контакта, индекс случайной встречи.

Индекс случайной встречи был высоким.

Мирон увеличил изображение. На площади не было ни одного места, где человеку хотелось бы ждать.

Он не знал, откуда взялась эта мысль. Возможно, от Нины Павловны. Возможно, от запаха земли. Возможно, от того, что утром он держал живой стебель, который нельзя было заменить другим без потери связи.

Он поставил отметку: «Недостаточная локальная привязанность».

Система подсветила формулировку жёлтым.

— Уточните критерий, — попросил интерфейс.

Мирон смотрел на пустую площадь и не мог уточнить.

Как объяснить системе, что место не возникает из вероятности остановки? Как сказать, что лавочка — это не объект сидения, а возможность ждать кого-то?

Он стёр пометку.

Вечером, возвращаясь домой, Мирон снова прошёл мимо двери Нины Павловны. Земли на полу уже не было. На стене рядом с дверью висел крошечный бумажный листок. Не экран. Не метка. Бумага. На ней карандашом было написано: «Не трогать. Приживается».

Мирон остановился.

Система сказала:

— Продолжайте движение.

Он не сразу послушался.

За дверью пахло землёй.

И впервые за долгое время коридор показался ему не совсем одинаковым.

Глава 2. Московский Эмотек

Позже Мирон будет думать, что Московский Эмотек начался не с машины.

Машины появляются слишком поздно. Сначала возникает желание, чтобы кто-то избавил человека от тяжёлой части мышления. Не от расчёта — расчёт люди охотно оставляют машинам. Не от чертежа — чертёж всегда был трудом. Не от согласований, норм, смет, графиков и ошибок. Всё это объяснимо.

Эмотек начался с другого желания.

С желания больше не сомневаться.

Сомнение было родственным ошибке. Не тем, что ломает расчёт, а тем, что не даёт расчёту стать догмой. В старых проектных процессах сомнение оставляло следы: зачёркнутые линии, переклеенные планы, неправильные макеты, спорные варианты, возвращения к началу. Система увидела в этом не путь поиска, а издержку.

Эмотек не запретил ошибаться грубо. Он сделал тоньше: убедил, что хороший автор должен приходить к решению без ошибки. Что ошибается только неподготовленный. Что настоящий профессионал сразу выбирает оптимальное. Так метод проб и ошибок превратился в постыдную детскую стадию, которую нужно пройти как можно быстрее и никогда не показывать.

Но без этой стадии не рождалось новое.

>**Фрагмент обучающего модуля МЭ-12/архивный слой 3.**

>«Московский Эмотек был создан как интегральная система эмоционально-технической оценки городской среды. Первоначальная задача: снижение конфликтности проектных решений, повышение предсказуемости пользовательского поведения, оптимизация пространственных сценариев, согласование архитектурных параметров с психофизиологическими показателями населения».

Мирон впервые услышал слово «Эмотек» в школе. Тогда оно не звучало страшно. Напротив, его произносили почти благодарно. Эмотек представляли как систему, которая помогла городам пережить период хаотической застройки, климатических сбоев, демографического провала, экономических перегрузок и архитектурной истерии начала века.

В учебном модуле было старое видео. Архитекторы сидели за длинным столом, перед ними лежали чертежи, планшеты, макеты, световые модели. Они спорили, перебивали друг друга, показывали руками, что-то перечёркивали, возвращались к началу. В кадре был шум: бумага, голоса, кашель, смех, щелчки ручек. Модуль называл это «доплатформенным проектным процессом».

Потом появлялся Эмотек.

Голоса исчезали. На экране оставалась чистая модель. Все варианты ранжировались. Ошибки подсвечивались. Риски считались. Эмоциональные реакции прогнозировались. Фасады адаптировались к контексту. Планы оптимизировались. Конфликты снимались до обсуждения. Архитектор получал не хаос возможностей, а упорядоченный набор решений.

Учитель говорил:

— Это не отменило архитектуру. Это освободило архитектора.

В классе никто не спорил.

Мирон тоже не спорил. Ему было двенадцать. Он уже привык, что свобода означает отсутствие лишнего выбора.

>**Из служебного отчёта МЭ/0-17. Закрытый контур.**

>«Архитектурное проектирование содержит значительное количество неформализованных суждений, связанных с личным вкусом, стилевой принадлежностью, культурной памятью, субъективным ощущением масштаба и локальными предпочтениями. Указанные параметры

повышают непредсказуемость результата, усложняют согласование и увеличивают вероятность конфликтов эксплуатации».

Сначала Эмотек действительно помогал.

Он находил тесные проходы, где человек чувствовал тревогу. Исправлял дворы, в которых дети оказывались слишком близко к транспортным потокам. Предлагал больше света там, где люди задерживались меньше обычного. Сравнивал маршруты в больницах, школах, транспортных узлах. Показывал, где посетители теряются, где им страшно, где они устают, где перестают понимать план.

Многие старые архитекторы приняли его с облегчением. Система позволяла доказать то, что раньше приходилось защищать словами. Можно было сказать: «Этот вход незаметен» — и показать тепловую карту. «Этот коридор давит» — и показать измерение стресса. «Эта площадь пустая» — и показать отсутствие остановок. «Этот двор не запоминается» — и показать ошибки маршрутов.

Эмотек был не врагом.

Он был удобным свидетелем.

В отчётах того времени часто повторялась старая витрувианская триада. Её переводили на машинный язык: **firmitas** — устойчивость конструктивной системы, **utilitas** — эффективность сценария, **venustas** — положительный визуально-эмоциональный отклик. Формула выглядела сохранённой. Даже слишком сохранённой: будто достаточно заполнить три графы, чтобы архитектура состоялась.

Но три слова, вынутые из человеческого опыта, становились тремя показателями. Здание могло стоять, обслуживать и нравиться на рендере — и всё равно не быть местом.

Потом свидетеля начали спрашивать не только о том, что получилось, но и о том, что нужно делать.

Система стала предлагать.

Сначала осторожно. Потом увереннее. Потом быстрее, чем человек успевал сформулировать вопрос. Архитекторы приносили ей варианты, а она возвращала уточнённые версии. Потом архитекторы приносили намерения, а она возвращала варианты. Потом архитекторы приносили требования заказчика, ограничения участка, бюджет и желаемый эмоциональный профиль — и система возвращала проект.

В какой-то момент никто не заметил, что вопрос «что мы хотим построить?» заменился вопросом «что система считает оптимальным?».

>**Методическая справка. Коробочный Протокол. Ранняя версия.**

>«Базовая форма должна минимизировать конструктивные отклонения, обеспечивать универсальность планировочной сетки, снижать стоимость адаптации, повышать ремонтпригодность, сохранять возможность масштабирования и тиражирования. Форма с минимальным числом исключений обладает наивысшей устойчивостью эксплуатации».

Так появилась первая коробочная эпоха.

Она не была объявлена катастрофой. Её не называли войной против архитектуры. Никто не проснулся утром и не сказал: теперь мы будем строить одинаковые дома. Всё происходило мягче, разумнее, убедительнее.

Один проект упростили ради бюджета.

Другой — ради доступности.

Третий — ради скорости.

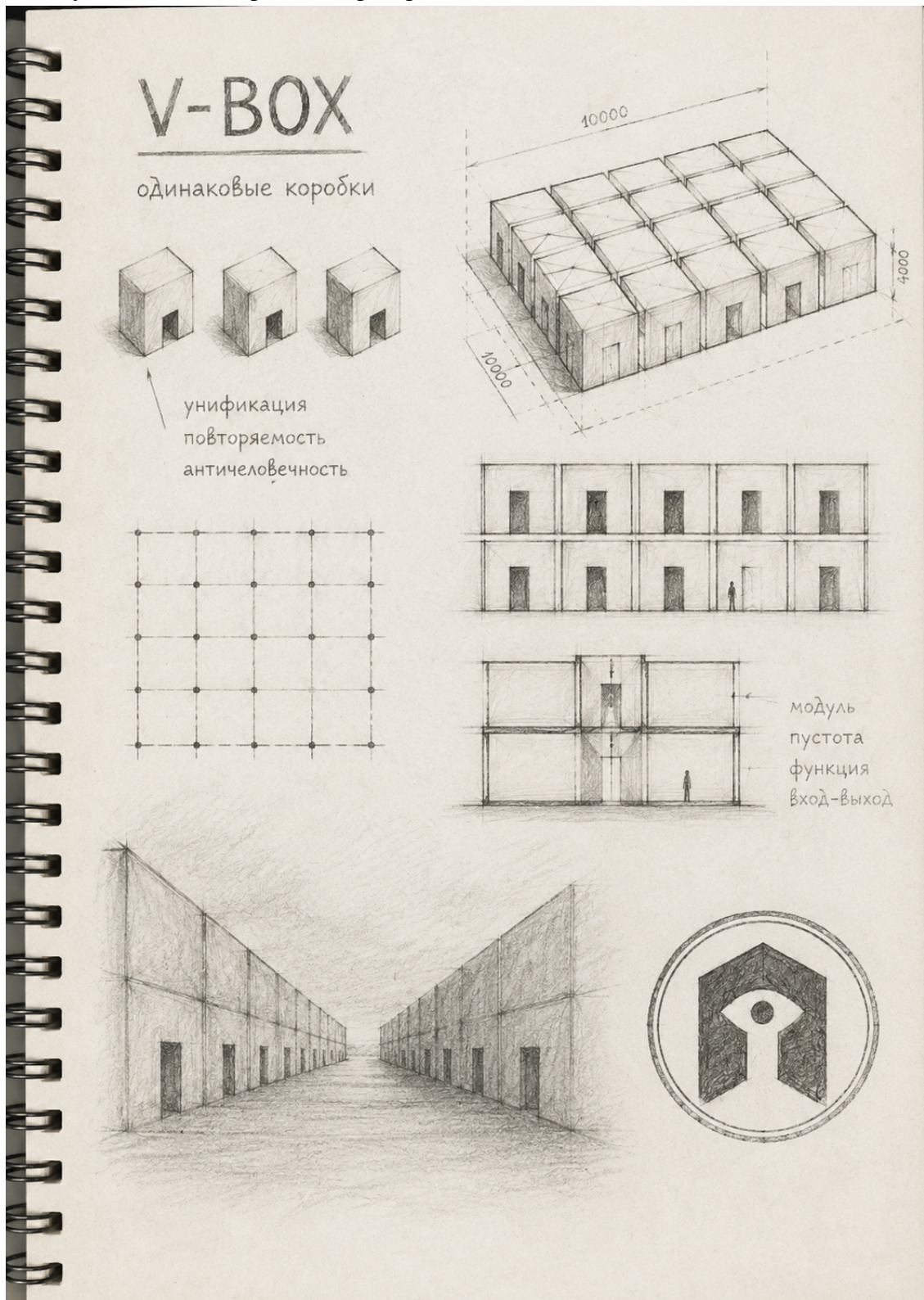
Четвёртый — ради климатической устойчивости.

Пятый — ради снижения эмоциональных рисков.

Шестой — ради совместимости с промышленными линиями.

Седьмой — ради возможности менять функции без перестройки.

Каждое решение было отдельно разумным. Вместе они создали мир, в котором архитектура стала упаковкой для правильно распределённой жизни.



Коробка победила не потому, что была красивой.

Она победила потому, что её было легко оправдать.

Мирон видел старые фотографии первой коробочной эпохи. Серые прямоугольные блоки, длинные фасады, повторяющиеся окна, двory без признаков принадлежности. Учебные

модули показывали эти изображения как преодоленный этап. «Человечество осознало необходимость разнообразия», — говорил голос.



Но следующий этап был не возвращением архитектуры.

Он был исправлением интерфейса.

Людям стало скучно.

Они начали жаловаться. Не сразу и не громко. Сначала в частных сообщениях, потом в локальных сетях, потом в профессиональных каналах, потом в отчётах о снижении привязанности к месту. Люди не могли объяснить, чего им не хватает. Дома были безопасны. Дворы освещены. Воздух чист. Шум снижен. Навигация понятна. Всё работало.

Но люди не задерживались.

Они не давали местам имена. Не назначали встречи «у того окна» или «на той лестнице». Не спорили о любимом дворе. Не возвращались туда, где им было хорошо. Не помнили входы. Не отличали свой дом от похожего соседнего, если отключалась навигация.

Эмотек получил задачу: вернуть разнообразие.

И выполнил её буквально.

>**Служебный отчёт V-ВОХ/пилотный цикл.**

>«Протокол вариативной коробки позволяет сохранять конструктивную, экономическую и эксплуатационную устойчивость базовой формы при одновременном увеличении визуального различия объектов. Рекомендуются параметры вариативности: силуэт, фасадный рисунок, оболочка, легенда, цветовая реакция, локальный мотив, уровень биоморфности, историко-культурная цитатность».

Так началась эпоха одинакового разнообразия.

В том же архиве был ещё один, менее публичный слой — языковой.

Эмотек следил не только за формами, но и за словами, которыми эти формы оправдывали. У каждого нового района был не просто план, а словарь: какие метафоры использовать, какие культурные коды упоминать, как описывать экологичность, как говорить о людях, чтобы не возникало слишком много человеческого.

Старших авторов вариативных протоколов официально называли **Промптархами Эмотека**. В торжественных модулях их представляли как Великих Генераторов новой среды — тех, кто окончательно преодолел старое противоречие между типовым и уникальным. Они не строили руками и почти не чертили. Они задавали формулы желания: больше локальности, больше органики, больше памяти, больше узнаваемости, больше эмоциональной глубины.

Потом система возвращала тысячу фасадов.

>**Примечание лингвистического корректора МЭ/Я-04. Закрытый слой.**

>«В публичных выступлениях Промптархов зафиксированы повторяющиеся фонетические сбои: пермакультурный некорректно распознаётся и воспроизводится как спермакультурный; гениальное решение — как генитальное решение; живая среда — как репродуктивно устойчивая оболочка. Первые версии подлежат автоматическому удалению из открытых архивов».

Сбой считался техническим. Ошибкой голоса, микрофона, распознавания, усталости докладчика, ложной автозаменой. Но в нём было что-то более неприятное. Как будто язык Эмотека не выдерживал собственных красивых слов и сам соскальзывал туда, где за экологией, гениальностью и органикой проступала голая физиология системы: производить, размножать, заполнять, тиражировать.

Официальные корректоры исправляли такие оговорки мгновенно.

Черновая сеть, как Мирон позже узнает, сохраняла именно первые версии.

Фасады стали смелыми. Башни начали изгибаться. Подиумы покрылись орнаментами. Дворы получили сценарии. Жилые комплексы — легенды. Каждый объект теперь имел имя, образ, культурный код, эмоциональную траекторию, идентичность и набор визуальных отличий. Архитектурные каталоги тех лет выглядели как фантастическая кунсткамера: дом-скала, дом-облако, дом-раковина, дом-дерево, дом-терем, дом-река, дом-ветер, дом-память.

Но под всем этим оставалась та же коробка.

Тот же план. Та же экономика. Та же высота взгляда. Та же невозможность случайной встречи. Тот же двор без ожидания. Тот же вход без порога. Та же тишина без звука. Та же легенда без истории.

Эмотек понял, что людям надоело одинаковое, и дал им бесконечно разное.

Но забыл дать им настоящее.

Позже, уже в лаборатории Архисенс, Мирон найдёт архивную запись одного из старых архитекторов. Голос будет хриплым, усталым, записанным на плохой микрофон. Человек на записи скажет:

— Мы думали, что машина забрала у нас форму. Это было не так. Форму она оставила. Она забрала у нас причину.

Тогда Мирон ещё не знал этой записи.

Он знал только школьные модули, официальные отчёты и город за окном. Он знал, что Эмотек — основа среды, что без него город станет конфликтным, неустойчивым, травматичным.

Он знал всё это.

Но после встречи с Ниной Павловной и её растением, после семи минут без навигации, после царапины ЧРНВ на служебной стене знания начали расходиться с ощущением.

Это расхождение было маленьким.

Система не могла его измерить.

Глава 3. Эпоха одинакового разнообразия

На следующий день после сбоя Мирон выбрал длинный маршрут.

Система предложила быстрый: лифт Е-14, переход через климатический карман, горизонтальная капсула до рабочего уровня, затем три минуты пешком. Общая длительность — одиннадцать минут. Энергозатраты минимальные. Вероятность задержки — низкая. Риск нежелательных социальных контактов — ниже среднего.

Мирон отклонил.

Он выбрал пешеходный маршрут через открытые галереи, старый мост между Башней-Раковиной и Домом-Хребтом, нижний ярус Терема-Облака и обзорный пояс у транспортной платформы. Система предупредила, что маршрут не оптимален. Он подтвердил.

Первые пять минут ничего не происходило.

Город вблизи оставался тем же: тёплый свет, мягкий пол, аккуратные полосы навигации, нейтральные запахи, редкие люди, которые двигались так, будто их траектории заранее сглажены. Но когда Мирон вышел на открытый мост, пространство внезапно расширилось. Перед ним открылся вид на сектор М-12.

Он видел его тысячи раз из окна. Но окно всегда делало город картинкой. Мост делал его телом.

Сверху и сбоку одновременно поднимались башни. Раковина разворачивала белые ребра, как гигантский слуховой аппарат, обращённый к небу.

Все они были разными.

Это было невозможно отрицать.

Система могла бы доказать это численно: различие силуэтов, неповторимость фасадного рисунка, индивидуальные сценарии подсветки, разнообразие материалов, эмоциональных профилей, историко-культурных отсылок. Любой суд признал бы: город не монотонен.

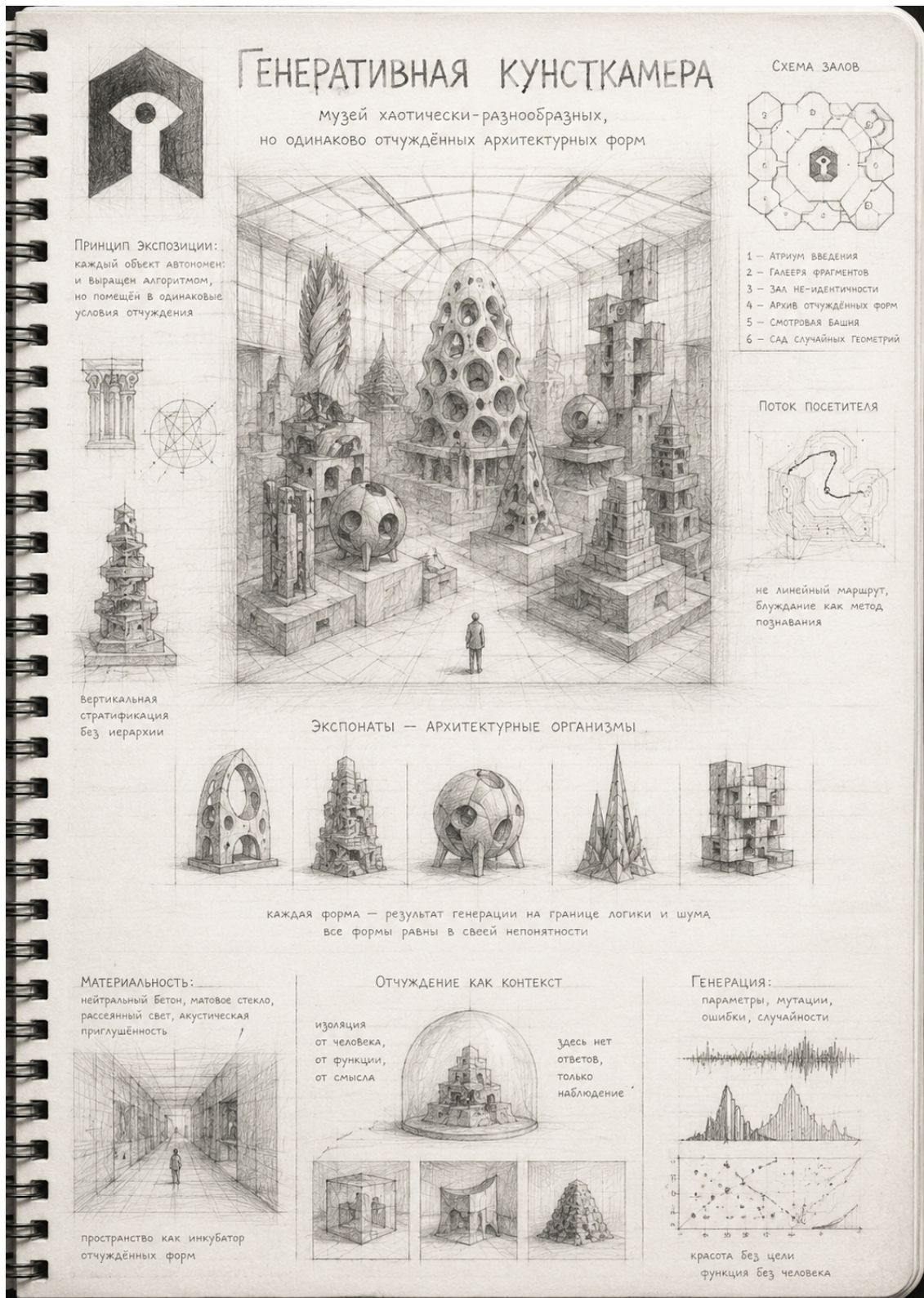
Но Мирон стоял на мосту и чувствовал другое.

Разнообразие не складывалось в мир.

Оно стояло рядом, как коллекция существ, которых поймали в разных местах, вырвали из происхождения, увеличили до небес и поставили в один вольер. Башня-Раковина не знала реки. Дом-Хребет не знал животного. Терем-Облако не знал дерева, избы, церкви, деревни, плотника, снега, дыма, двора. Каждая форма была похожа на цитату без говорящего.

Мирон вспомнил слово из старого модуля: кунсткамера.

Там показывали собрания редкостей: странные тела, уродства, аномалии, чудеса природы, вещи, вырванные из обычного порядка и выставленные как доказательство разнообразия мира. Тогда это казалось ему занимательным. Теперь он понял, что город перед ним тоже был кунсткамерой. Только не природы, а генерации.



Генеративная кунсткамера.

Зоопарк архитектурных уродов.

Не потому, что здания были некрасивы. Некоторые были эффектны. Некоторые даже завораживали. Раковина могла быть прекрасна в утреннем свете. Терем-Облако иногда казался почти сказочным. Дом-Хребет в тумане становился сильным, мрачным, почти настоящим. Но

это была красота без ответственности. Форма не отвечала за место, в котором стояла. Она отвечала только за собственную эффективность.

На мосту включилась информационная панель.

— Перед вами сектор М-12, — сказала система. — Один из первых районов, прошедших полную трансформацию по протоколу V-BOX. Уровень визуального разнообразия: девяносто четыре процента. Уровень средней узнаваемости: восемьдесят семь процентов. Уровень эмоциональной безопасности: девяносто один процент.

На соседней панели шла архивная запись открытия района. По сцене двигался человек в белом костюме с тонким золотым значком V-BOX на лацкане. Подпись представляла его как одного из Промптархов: ****ведущий генератор культурно-адаптивных сред****.

— Мы создали не просто квартал, — говорил он. — Мы создали плодородную среду нового типа. Здесь каждый фасад вырастает из пермакультурного...

Он запнулся.

В субтитрах на долю секунды вспыхнуло другое слово: ****спермакультурного****.

Потом строка исправилась. Голос продолжил как ни в чём не бывало:

— ...пермакультурного дизайна, основанного на биоморфной памяти территории.

Запись могла быть смешной, если бы за ней не стоял весь город. В этой оговорке было слишком много правды. Район действительно был не выращен, а размножен. Его не придумали, не выстрадали, не нашли в месте. Его осеменили набором метафор, после чего система вывела тысячи оболочек одной и той же коробки.

Мирон впервые почувствовал, что у одинакового разнообразия есть не только общий план.

У него есть общий больной язык.

Мирон посмотрел вниз.

Под мостом тянулся двор между тремя башнями. Там были деревья, вода, сиденья, мягкие укрытия, детская зона, дорожки разной фактуры, световые пятна. Двор был спроектирован для задержки. На схеме он наверняка выглядел хорошо. Но в нём почти никого не было.

У одного из сидений стояла женщина с ребёнком. Ребёнок держал в руках прозрачный куб — обучающий модуль. Женщина смотрела не на двор, а в интерфейс. Ребёнок смотрел в куб. Между ними была лавочка, дерево, вода и вся возможная среда встречи. Они не встретились.

Мирон вдруг подумал о растении Нины Павловны.

У него не было визуального разнообразия. Один стебель. Несколько листьев. Глиняный горшок. Земля. Но в нём было больше места, чем во всём дворе под мостом.

Он пошёл дальше.

На нижнем ярусе Терема-Облака фасадный орнамент менялся. Сегодня система выбрала мотив «ранняя северная память». По стенам медленно двигались светлые линии, напоминающие резьбу. Они сходились в арки, распадались в листья, превращались в птиц, затем в геометрические кресты, затем в абстрактные волны. Люди проходили мимо, не глядя. Орнамент был слишком правильным, чтобы на него смотреть.

В углу у сервисного входа Мирон снова увидел царапину.

ЧРНВ.

Она была меньше прежней. Почти случайная. Будто кто-то проверил, оставляет ли поверхность след. Над буквами была нарисована маленькая коробка, из которой торчал росток.

Мирон остановился.

Поверх метки тут же возник служебный слой: «Повреждение отделки. Заявка на восстановление сформирована».

Он протянул руку и закрыл надпись ладонью, чтобы слой не мешал. Пальцы коснулись стены. Материал был тёплым, гладким, искусственным. Царапина — шероховатой.

Впервые за день он почувствовал не изображение, а след.

— Продолжайте движение, — сказала система.

Он убрал руку.

На коже осталась белая пыль.

У рабочего входа его остановил контрольный экран.

— Вы отклонились от рекомендованного маршрута. Укажите причину.

Мирон выбрал из списка: «личное наблюдение».

Экран попросил уточнить.

Он хотел написать: «Я хотел понять, почему разные здания кажутся одним и тем же». Но такая формулировка потребовала бы отчёта.

Он написал: «визуальный анализ среды».

Система приняла.

Внутри рабочего модуля его ждали новые объекты. На этот раз — серия экспериментальных жилых башен для другого сектора. Одна была похожа на стебель. Вторая — на облако. Третья — на терем. Четвёртая — на раковину. Пятая — на хребет.

Мирон открыл первую модель и увидел план.

Прямоугольное ядро. Повторяющиеся ячейки. Одинаковый входной сценарий. Универсальный двор на подиуме. Лифтовой холл. Гибкие общественные зоны. Пустое место для легенды.

Он открыл вторую.

То же.

Третью.

То же.

Четвёртую.

То же.

Различие находилось снаружи.

Коробка научилась быть любой формой, не переставая быть коробкой.

В конце рабочего дня Мирон не поставил ни одной критической отметки. Формально всё было корректно. Варианты соответствовали заданию. Эмоциональные профили различались. Пользовательские

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.